

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА



ИГРА В ОЛЕНЕЙ

РАССКАЗ

Ранним летним утром стойбище оглашается треском оленьих копыт: это стадо идёт с ночного выпаса. Авкают телята, путаясь в ногах у своих матерей, храпят молодые рогачи, залившимся лаем подгоняет их лайка Изок.

Маленький Ноляко, выбравшись из чума, встречает стадо: “Ты то! Ты то!” Это значит “идут олени”. Это значит и “доброе утро”. Всякое утро в тундре доброе, если олени вернулись на стойбище.

Вслед за стадом идёт и Сойти. Ему девятнадцать. Для тундры — взрослый мужчина, хоть с виду почти мальчишка. Ноляко подбегает, ввинчивает лобастую голову ему в живот.

— Поиграем в оленей?

— Лучше сестру позови. — Сойти рассеянно треплет младшего брата по светлым, как у матери, волосам. — Я спать.

— А когда папа вернётся, поиграешь?

— Обязательно.

Отец уехал в посёлок семь дней назад, и семь ночей рядом Сойти провёл в тундре на выпасе. Пока отец в отлучке, сменщика ему нет. В последние годы волки слишком уж расплодились и осмелели — Сойти охранял стадо, не смыкая глаз. Иногда проваливался в забытьё, но тут же пробуждался и таранился по сторонам в поисках врагов. За эти дни Сойти очень устал.

ЯКОВЛЕВА Александра Геннадьевна родилась в 1990 году в г. Омске. Окончила Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности “филология”. Среди предков — остяки (коренной народ Сибири), что нашло отражение в ее творчестве. Автор книги рассказов “Вот она я” (диплом “За лучший литературный дебют” Германского Международного литературного конкурса). Лауреат молодежной литературной премии им. Ф. М. Достоевского, премии “Русский Гофман”, премии “В поисках правды и справедливости”.

Майма встречает старшего брата у чума. Взгляд серьёзный, даже грозный.
— Слово есть, — разговор начинает по-взрослому, но Сойти обрывает:
— Нет, сестра. Что бы ни сказала — не слышу.
— Слышишь! — упрямится. — Следующую ночь я пойду.
— Выдумала.
— Я разве слепая? Совсем подурнел, под глазами черно...
— Про мою красоту не думай, — смеётся Сойти, — думай про свою.

Если подурнеешь ты, бабушка нас обоих съест.

Майма дует алую губку, а Сойти лобуется ею. Сестра у него красавица: круглолицая, темноглазая, кожа — как молоко, а ярится — щёки вспыхивают спелыми ягодами. Такая в тундре стоит всего отцовского стада, и даже больше. Строптивая только, что дикий олень. Вот и теперь: хочет бить-ся, хочет возражать.

Маленький Ноляко вдруг хватается её за руку, тянет:

— Майма-Майма, поиграем в оленей?

И Сойти сбегает от Маймы под полог родного чума.

В чуме тепло, пахнет шкурами, свежим чаем и молоком. На огне доходит завтрак.

У очага сидит мать. Имя её — Ксения — в семье почти забыто. Светлая славянская голова расчёсана на пробор, волосы заплетены по-северному. Мать следит за пламенем, то и дело подбрасывает валежник. Работа мужчины — заботиться об оленях, её работа — заботиться об очаге. Огонь горит ровно, весело. Дымок тянется вверх, вылетает змеем в круглое окошко и устремляется вдаль, в бескрайнюю тундру, к облачному горизонту.

Снаружи шум: маленький Ноляко и Майма спорят, кто первый будет охотником. Простая игра в оленей в тундре необходима. Растут дети — вместе с ними растёт и забава, становится уже заботой. Ещё совсем недавно Сойти тоже всего лишь играл. Теперь он входит в чум, уставший с ночи. На полудетском лице его тень, будто сам Хасавако проступает сквозь сыновние черты. Взглянув на сына, Ксения вздрагивает.

— Доброе утро, — говорит она. — Чаю попьёшь?

Сойти качает головой:

— Давай сперва стадо соберём.

*

Майма бежит вприпрыжку, топорчит над головой раскрытые ладони, будто рожки:

— Я олень! Олень!

Майме пятнадцать. Она подпрыгивает так высоко, что рожки её вот-вот уткнутся в белые пузатые облака. Ноляко — “охотник”, и аркан в его руках, хоть маленький, вполне настоящий.

— Лови меня! — зовёт Майма.

Ноляко пытается повторять броски за старшим братом Сойти, но руки и ноги у него слишком короткие, несуразные. А голова, наоборот, огромная. Ноляко то и дело падает, запутавшись в ногах, противный аркан летит, куда попало.

— Лови меня!

Майма увёртывается, словно прыткий двухлетка. Поддавков от сестры Ноляко не ждёт: разве настоящие олени поддаются Сойти?

— Лови, Головастик!

И Ноляко, наконец, ловит. Прочная верёвка цепляет сестру за ногу — Майма падает, брыкаясь для смеху сильнее, чем нужно. Ноляко в полном восторге.

— Покорись! Покорись! — восклицает он, подражая старшим, и хлопает Майму по спине палочкой: так положено умирять норовистых оленей. Майма дёргает спутанной ногой, бякает, как настоящий рогач. Вместе они хохочут, совершенно счастливые.

— Теперь меняемся, — Ноляко протягивает Майме аркан, но тут из своего вдовьего чума выходит бабушка. Она смотрит на Майму, всю в грязи, и начинается:

— Взрослая девка, вот-вот замуж, а всё игры ей, всё игры... Ну, поднимайся, чего разлеглась? Загонять надо.

Майма встаёт, отряхивает колени. Даёт старухе опереться на свой локоть и медленно ступает вместе с нею.

— Я тоже помогу! — восклицает Ноляко.

На неуклюжих своих ногах он устремляется к стаду. Аркан волочится за ним, как хвостик.

— Уж ты можешь, — ворчит бабушка себе под нос, медленно переставляя ноги. — Помогальщик...

— Ба, — просит Майма. — Ему же восемь. И он сильный. Самое время помогать.

Впереди Ноляко спотыкается, растягивается на брюхе, но быстро встаёт, словно ничего и не случилось.

— Ну, ты погляди! А говорила я сыну: вот тебе невеста, лучшая в тундре, бери! Нет, приволок дурную кровь с большой земли. Она и родила урда... Тьфу! Изорвалась вся — тоже бесполезная стала. Наказание наше.

— Ну, Ба.

Маленький Ноляко, наконец, прибегает к коралю — загону для оленей. Кораль самый простой: сотня столбиков, вбитых в землю по кругу, вместо перекладин — длинная верёвка. Ксения уже открыла проход стаду, держит один из концов верёвки. Со вторым обычно помогают Майма и бабушка.

Ноляко обнимает мать, забирается ей под руки, бодает в ладони, в мягкий полный живот. Это он у телят научился. Он похож на неё, как две капли воды: те же светлые, почти белые волосы, тот же прямой тонкий нос и глаза, серые, как олений мех.

Ксения мягко отталкивает Ноляко:

— Иди, сынок, иди, а то затопчут.

Стадо волнуется. Среди оленей бегают Сойти с Изоком, ловят крупного сильного рогача. Если усмирить вожака, остальные тоже покорятся и спокойно пойдут в загон. Но Сойти устал, и вожак легко увёртывается от петли его аркана.

Майма делает шаг к стаду:

— Надо ему помочь.

Цепкие пальцы старухи сдавливают ей плечо.

— Стой, позорница! Стой и держи кораль, как подобает женщине.

Майма умоляюще смотрит на мать, но та в кои-то веки согласна с бабушкой:

— Он справится.

И Майме приходится стоять столбом вместе с мамой, бабушкой и сотней других столбов, деревянных, пока измученный Сойти занят своим мужским делом.

— Держи крепко, — наставляет бабушка. Майма стискивает верёвку изо всех сил.

Маленький Ноляко опять крутится рядом: без дела ему тягостно.

— Мама-мама-мама, — тараторит он. — Мама, можно и мне подержать?

— Нет, сынок, нельзя.

— Мама-мама-мама, — дёргает её Ноляко. — Почему Майме можно, а мне нельзя?

— Потому что она женщина, — отвечает мама. — Отойди.

— Женщина? — Ноляко изумлённо смотрит на Майму, будто впервые увидал. — Вот повезло!

Майма фыркает:

— И ничего не повезло. Это тебе повезло, что ты мужчина. Вырастешь — будешь ловить оленей за рога. А женщинам достаётся только самое скучное.

— Самое важное! — возражает старуха. — Без женщины оленя не поймаешь, чум не соберёшь, огня не сохранишь. Без женщины в тундре жизни

нет. Так-то. — Пожевав губами, добавляет: — Мать твоя — чужачка бес-толковая, и ты туда же...

Ксения дёргает плечом, будто её ударили, но молчит. Она наблюдает за старшим сыном. Тот не без труда хомутает, наконец, вожака: покорись! покорись! — садится верхом и въезжает на рогаче в загон. Следом идёт и стадо, Изок подгоняет отстающих.

Когда все олени собраны, женщины смыкают концы. Потом опускают верёвку к самой земле, как заведено, чтобы Сойти мог выйти из круга поверху. Но когда вновь поднимают, маленький Ноляко вдруг проскальзывает под верёвкой, на женский манер, — и со смехом убегает прочь.

— Что ты?! — восклицает Ксения.

— Беду! — воет старуха. — Беду накликать!

Майма бросается в погоню за непутёвым братцем:

— Головастик, вернись! Переступи, как положено!

А Ноляко удирает со всех ног от Маймы и хохочет. Он ещё знать не знает, зачем мальчикам ходить поверху, а девочкам — понизу, почему Сойти нельзя трогать женские вещи и самому ставить чум, а Майме — ловить оленей. Он раскрывает над своей большой белой головой ладонки и зовёт:

— Майма, гляди: я олень! Теперь ты — охотник! Лови меня, Майма, лови!

*

В тундре, куда ни правь оленей, дорога одна. Начало её совпадает с твоим рождением, а конец теряется где-то за горизонтом. Во все стороны тянется даль невыразимая, полная раздольного, дикого воздуха. Ковром изукрашенным стелется тундра до самого неба, а меж землёю и небом — одна пустота.

Крепкие нарты Хасавако идут легко, ветер подгоняет упряжку. Кучевые горы громоздятся совсем низко над головой. Кажется: протяни руку — и ухватишься за кромку облака, прибавь ходу — и достигнешь края земли.

Хасавако родился во время зимней перекочёвки, и лишь в пути он жив по-настоящему. Долго сидеть на одном месте — для Хасавако пытка. А ведь многие всю жизнь сидят сиднем, точно привязанные. Особенно в городах. Там-то все за землю держатся! Зарываются в самую чёрную нутро, громоздят дома-колонны, мостят улицы — и всё кружат, кружат на одном месте. И как же много людей, как тесно в городищах! Одни только стены, заборы, границы. Смотрят искоса налево, направо: что там у соседа? Всё поделено, порублено на куски, заперто на ключ, а ключ давно утерян.

Теперь вот на тундру зарятся. Впились в неё бурами, пускают чёрную кровь, выворачивают недра. Бродя полно уж, да будто печёт их жадность голодная. А тундра — она ведь общая на всех людей и ничья притом. Так выступал на сходке старик Сэвси и тем разъярил он сердце Хасавако. Чёрные мысли теперь зудят в его голове. Чтобы сдуть их, как надоедливую мошку, Хасавако подгоняет оленей. Длинный упругий хорей так и ходит по их бокам.

Неделя в посёлке сжалась в один долгий смутный день, пёстрый от человеческих лиц и спиртного. В кои-то веки Хасавако говорил с людьми, а не с оленями. И как говорил! Даже язык припух с непривычки. Но дело улажено. На сходке Хасавако говорил с достойной семьёй Сэвси: тридцать справных важенок за Майму и прочего разного добра в придачу. Он уже подсчитывает, какова будет прибавка к стаду, если каждая важенка на будущее лето принесёт по телёнку, и довольно причмокивает. Ладом пойдёт — через пару-тройку лет можно и для Сойти подыскать достойную невесту.

Хасавако полупьян и доволен собой, в нартах весело позвякивает запас на несколько перекочёвок. Жаль только, пить придётся одному: жена от водки нос воротит.

Почти всю жизнь он знает её, девочку с большой земли. Знает с того давнего лета, когда девять чумов сообща встали на широкой реке. Хасавако и другие дети вернулись из поселковых школ-интернатов на каникулы в тундру,

и одна девочка привезла подружку-славянку, чтобы показать, как живёт её кочевая семья. За светлые волосы и кожу гостью быстро прозвали Няравэ Сэр — Белый Олень. Все хотели с нею дружить и охотно принимали в игры, даже в мальчишеские. Однажды они играли в оленей, Хасавако был одним из охотников, а Няравэ Сэр, конечно же, оленёнком. Он тогда не рассчитал, и верёвка сильно хлестнула её по лицу, кожа на щеке лопнула. Сколько лет прошло — до сих пор видно шрам.

Бывало, они убегали в тундру, подальше от стойбища, и там находили самую большую и красивую лужу. Вода в ней отливала синевой, искрилась на солнце. По её поверхности бегали насекомые на тонких, изящных лапках, а на дне, среди тёмной сонной травы, копошились всякие головастики. Осторожно, чтобы не спугнуть потаённую жизнь, они ложились на животы, свешивали головы и часами наблюдали за тем, как колышется трава, как снуют мальки, как охотятся серебристые водяные паучки. Одни играли в солнечных лучах, другие держались тёмного дна — у всех было своё место в этой луже и в этом мире. Девочка тихонько пела им песенки на своём смешном языке.

Когда Белому Оленю наскучивало наблюдать за лужей, она убегала и пряталась от Хасавако. Её макушка так и сверкала на солнце, но Хасавако притворялся, будто не видит, и звал на всю тундру: “Няравэ Сэр! Няравэ Сэр!” Так матери ищут детей в чуме, хотя отлично видят среди спальных шкур детские пятки.

Однажды Хасавако обознался и вместо белобрысой девчонки нашёл в зарослях настоящего белого оленёнка-сироту. То был знак, подарок тундры.

— Возьми его с собой, — предложил Хасавако, когда пришла пора прощаться.

Решение далось ему тяжело: оленёнок был чудо как хорош. Но Белый Олень только засмеялась:

— В город? Мама не обрадуется.

И Хасавако оставил оленёнка себе. Прошло много лет, потомки того найдёныша теперь пасутся в стаде Хасавако. Белая шерсть их радует людской взор, а кровь угодна богам. Что же Няравэ Сэр? Она вернулась в тундру и стала матерью троих его детей.

Впереди вдруг чудится крупный зверь, как будто олень. “Неужто мой?” — думает Хасавако. Он притормаживает, привычным движением вскидывает ружьё, смотрит в прицел. Похоже, его рогач: горбатая спина бежит среди травы.

Но вдруг олень дыбится, вырастает — и встаёт прямо, на задние ноги. По-человечьи. Рога выются над ним, будто корона, и утреннее солнце золотит их. Человек-олень смотрит в упор на Хасавако, потом взбрыкивает и заводит дикую пляску. Он кружит и кружит на одном месте, всё быстрее и быстрее — вот уже только вихрь один, белый с золотом...

Миг — и пропало всё, как не было.

Руки у Хасавако дрожат так, что не могут удержать ружьё, и он убирает его за спину. Спина взмокла под лёгкой летней малицей. Хасавако достаёт из-за пазухи початую бутылку, свинчивает крышку, делает два судорожных глотка прямо из горла. Осторожно подъезжает ближе к месту, где видел призрак. Ничего. Только трава примята, будто кто-то лежал в ней совсем недавно.

*

Сойти спит, зарывшись в шкуры. Олений мех мягко обнимает его, обволакивает, как вторая кожа. Ему снится привычный сон: будто он олень, молодой и быстрый. Тундра под его копытами красная, какая бывает только короткой осенью, но Сойти откуда-то знает, что это кровь с его отмирающих рогов. Сойти бежит, но, как часто бывает в таких снах, продвигается с трудом. Ноги его вязнут в какой-то чёрной жиже, что бьёт из-под земли. Вдруг он слышит далёкий перезвон колокольчиков. “Это отец!” — Сойти рвётся на звук, но только сильнее вязнет.

Кто-то трясёт его за плечо. Сойти рывком вскакивает, ещё ничего не понимая со сна.

— Сынок, — тихо зовёт мать. — Сынок, отец приехал.

Не разобрать, чего в её голосе больше: радости или тревоги.

Кто-то визжит с пологом чума, и мать спешно подкармливает огонь. Пламя с треском выбрасывает искры. Предупреждает. Сойти видит, как по лицу матери пробегает тень.

В чум вваливается Хасавако, на сына даже не глядит. Мать ставит перед ним стол с завтраком, заваривает крепкий чай. Всем своим нутром Сойти чувствует: отец в дурном настроении. Он смиренно ждёт, когда Хасавако заговорит с ним, но отец медленно жуёт кусок за куском, не предлагая сыну присоединиться к нему ни словом, ни жестом. Время мучительно тянется. Мать забила на своё женское место, у входа в чум, заняла руки штопкой, но, как только тарелка Хасавако пустеет, она уже тут как тут, наливает чаю.

— С дочерью улажено, — роняет Хасавако. — Пойди, скажи, чтоб готовилась.

Мать быстро выскальзывает из чума. Вслед ей смотрит только родильная кукла-помощница, что сидит на почётном месте, одетая в три ягушки, по числу выживших детей. Значит, скоро и у Маймы такая будет.

Хасавако делает шумный глоток, крикает, выплёскивает остатки чая. Достает из-под малицы уже початую бутылку, вновь наполняет пиалу.

— Плох оленевод, не знающий, что в стаде его делается, — говорит Хасавако и наконец-то смотрит на сына.

Язык у отца почти не заплетается, но вот мутные глаза так и бегают, выдают с головой. Липкий ужас опутывает Сойти. Он будто снова маленький мальчик, а отец — огромный, сильный, совершенно дикий. Непредсказуемый. Это как сидеть в одном чуме с волком или даже медведем.

— Ты считал моих оленей? — рычит Хасавако.

— Нет...

— Громче!

— Не считал! — голос Сойти срывается.

Всю неделю ему удавалось сохранять стадо в целости. Каждое утро в стойбище возвращались те же олени, что уходили накануне. Конечно, Сойти их не считал. Бабушка всегда наставляла: “Сочтёшь — и от волка спасу не будет. Настоящий оленевод всех в глаза знает”. Но отец гнёт своё:

— То-то и оно, что не считал. Так вот пойдешь, пойдешь! Проверь! Мой белый по тундре шарахается, а ты тут дрыхнешь! Сторож!..

Сойти перебрал в памяти стадо. Вот с чёрным пятном на лбу, вот с рыжиной в шерсти. Самый крупный, самый старейший... У того рог обломан, этот с шишкой... Всех белых важенков вспомнил, всех телят.

— Да на месте вроде... Я ж проверял.

Пиала, брошенная в Сойти, едва расходится с его головой, но брызги падают на лицо и одежду.

— Сам! Своими глазами видел! — орёт отец. Глаза его вот-вот вылезут из орбит. — Мой он, мой! Только у меня такие!

По чуму разливаются запахи алкоголя. Сойти терпеть его не может.

— Встал и пошёл искать! Моего оленя! Быстро, я сказал!

Сойти кое-как одевается и вываливается из чума под ругань Хасавако. Ксения занята у нарта, но, завидев Сойти, бросается к нему.

— Бил? Бил?!

— Я в порядке, мам, — Сойти отстраняет её руки. — Потерял одного, пойду искать.

— Ксения! — ревет из чума. — Где ты шляешься, падаль...

— Не надо, мам, не ходи, — просит Сойти, но мать, как всегда, идёт: “Иначе будет хуже”.

Быстрым шагом Сойти идёт, куда глаза глядят, бессильно стискивая в руках аркан и хорей — длинное копыё погонщика. Не сразу он замечает маленького Ноляко, что бежит ему навстречу.

— Ну как, выпался? — Ноляко заглядывает брату в лицо. — Я старался тихонько играть. А бабушка меня дымом обдымила, представляешь?

От злых духов! Это потому, что я беду накликал... А видел, папа приехал? Здорово же?

— Очень.

— Теперь он тоже будет сторожить оленей, и ты отдохнёшь. Здорово же?

— Ага.

— А куда ты идёшь?

— Искать оленя.

— Потерялся? Давай, я помогу?

— Нет, Головастик. Не ходи за мной.

— Ну, Сойти! Я хочу с тобой!

Ноляко повисает на локте у брата, но Сойти с такой силой отдёргивает руку, что младший падает, не удержавшись на своих ножках.

— Вставай, чего ты, — Сойти поднимает брата. Оглядывается на чум, из которого доносятся пьяные крики и как будто бы придушенный женский плач. — Ладно, пошли. Поиграем в оленей, я ж обещал.

— Ура! — маленький Ноляко подпрыгивает так высоко, как только может. — Давай, как олени, побежим? Будем бежать, бежать — и к самому краю земли убежим. Здорово же?

— Здорово, — соглашается Сойти.

*

Сойти поднимается с колен, опираясь на хорей. Оглядывается, щурясь на солнце. Сегодня хороший тёплый день, только на горизонте собираются облачные горы. Объединный ягель под его ногами говорит о том, что здесь и впрямь проходил одинокий олень. Верный Изок, увязавшийся за братьями, взял его след. В нетерпении он поскуливает и заглядывает Сойти в глаза: “Ну, ты идёшь?”

Маленький Ноляко треплет Изока за мохнатые уши, и на шерсти остаются красные следы от ягодного сока. У Ноляко уже все карманы набиты княженикой, для Маймы.

Летняя тундра цветёт, торопится жить. Мхи переползают с камня на камень, цветы поворачиваются за солнцем, травы стелются зелёным ковром. В тундре так: когда цветёт она, небо светлеет; когда светла от снега тундра — расцветает северным сиянием небо. Цвета кочуют между небом и землёй. Кочует солнце из мира живых в мир мёртвых. Вслед за ним кочуют на оленях и люди. Без оленя нет жизни человеку в тундре.

— Хороший мальчик, — Сойти тоже треплет Изока по ушам. — Давай, ищи.

Изок — большой охотничий пёс, но прыгучий, словно кузнечик. Потому так и назвали: Изок. Выслеживая оленя, Изок то и дело возвращается к хозяевам, игриво скачет вокруг них, будто подгоняя, вновь убегает далеко вперёд.

— Слышишь? — Сойти вдруг замирает, напряжённый. Ноляко тоже прислушивается. Вдалеке радостно заливается Изок: нашёл. Они идут на звук и наконец видят оленя.

— Как тебя, окаянного, занесло?..

Порядочно проплутав, братья оказываются не так уж далеко от стойбища, только Сойти старается не водить сюда стадо. Здесь из-за промышленных разработок царствует обманчивая елань: с виду — добрая земля, а ступи — одна тошь зыбучая. В ней всё ещё борется олень, серый от болотной грязи. Ногами он ищет опору, но лишь крепче увязает в елани. Уже ушёл по самую грудь, и кровожадный гнус облепил его, не оставив живого места. Но олень ещё плачет, хрипло и бессильно.

— Надо ему помочь! — торопится Ноляко.

Рука Сойти останавливает его.

— Не лезь. Утонешь.

— А кто полезет? Ты, что ли?

— Надо позвать на помощь.

— Папу?

Сойти думает о том, в каком состоянии сейчас Хасавако, и стискивает зубы до боли. На кого ему надеяться? На холёную сестру? На слабую мать? Может быть, на старуху?

— Жалко, что я маленький, — шмыгает носом Ноляко.

— Да, — говорит Сойти. — Жалко, что ты маленький... — В памяти вдруг всплывает картинка из школьного учебника: смешной человек длинной палкой поддевает валун. — Все мы маленькие, зато кое-чего умеем.

Сойти обвязывается арканом, конец верёвки протягивает брату:

— Не потеряй. Я подойду, обвяжу рога и буду подталкивать. А вы с Изокм тяните, хорошо? Втроём справимся. Смотри только, в топь не влезь!

— Понял, — Ноляко крепко стискивает верёвку.

Сойти грозит псу:

— Отвечаешь за Головастика.

Пёс виляет хвостом-калачиком.

Осторожно Сойти заходит в болото. Под его ногами чавкает и шевелится жижа. Каждый шаг опаснее предыдущего. Сойти медленно идёт к оленю с глухим упорством. Вот он уже по колено в топи. Но и олень совсем близко: лишь руку протяни — схватишься за рога.

— Почти достал! — от волнения Ноляко приплясывает на одном месте, Изок вертится рядом.

— Стой смирно, — напоминает старший брат. Некоторое время он собирается с духом, потом резко выбрасывает себя вперёд — и руки обнимают тёплую шею животного. Он достал.

— Ура! — вопит Ноляко.

Олень шумно всхрапывает и мотает головой, пытаясь высвободиться. Сойти повисает на нём, ноги никак не находят опоры, увязают всё глубже и глубже. Жирные и сонные комары облепили оленю всю морду. Сойти разгоняет их привычным жестом, вытаскивает насекомых из длинных ресниц, из ноздрей. Олень находит ладонь человека и начинает жадно слизывать соль.

Сойти шепчет в белое ухо:

— Тише ты, глупый... Тише.

Как странно: ухо чистое, без клейма Хасавако.

— Он не наш.

— Чего?

— Говорю: олень дикий!

Сойти пробует дно хореем, кое-как находит опору. Теперь нужно снять с себя аркан и закинуть на рога. Но дурной олень, почуввав спасение, вдруг отчаянно бьётся, месит грязь — и ноги старшего вязнут под оленьими копытами. Верёвка, обвязанная вокруг Сойти, скользит в руках у Ноляко.

— Мне тянуть? — спрашивает Ноляко.

В ответ Сойти страшно кричит. От этого крика олень взбрыкивает ещё больше — во все стороны летят брызги: серые, бурые, ярко-красные. Оттолкнувшись от Сойти, рогач, наконец, выбирается из елани и бежит прочь. Он весь в грязи, а копыта такие красные, что у Ноляко рябит в глазах.

Верёвка всё скользит, жжёт руки. Маленький Ноляко вдруг сильно икает. Ещё и ещё — потом хватается крепче за верёвку и, не переставая икать, тянет на себя, отступает на шаг, другой, потом закидывает верёвку на плечо — и тащит, тащит. Изок тоже помогает, закусив самый конец, мощными лапами взрывая землю. Для него это как игра: хвост-калачик весело ходит из стороны в сторону.

Медленно, с огромным трудом Сойти выползает из елани на твёрдую землю и больше не двигается.

С ногами у брата что-то не так. Ноляко только разочек глянул и больше старается не смотреть. Кажется, если посмотрит, не сдвинется с места. Поэтому он бросает верёвку и бежит — так быстро, как только могут бежать его короткие, неправильные ножки Головастика. Ноляко летит быстрее оленя, попутный ветер гнёт спину. А вслед ему воев тоскливо Изок.

Старуха родилась давным-давно, одной лютой голодной зимой. Имя ей дала пурга, что бушевала тогда в тёмной тундре. Хадне. Давно уж никто не зовёт её по имени. Только сама себе и скажет порой шёпотом: “Поднимайся, Хадне. Ещё немного потерпеть, Хадне”. Поднимается и терпит ещё немного. Ставит чум, сшитый собственными руками, уже пятый за долгую жизнь. Латает его, как может, шуря слепые глаза. Готовит еду. Поддерживает очаг. С каждым годом всё труднее, но жаловаться старуха не привыкла и к невестке беловолосой никогда не пойдёт с протянутой рукой: дескать, одолжи, невестушка, угольков — свой очаг упустила. Старуха даже спит вполглаза, караулит свой огонь. По-стариковски бессонными ночами она долго шепчется с пламенем, и пламя отвечает ей, когда ровным гулом, а когда и возмущённым треском.

Радостную весть привёз на стойбище Хасавако, но огонь и так подсказывал благополучный стговор. Старуха ловко орудует иглой, помогая Майме дошить приданое. В её маленьком вдовьем чуме жарко, пламя горит ровно и ярко. Наблюдая за ним, старуха научает внучку:

— Есть время пути и время отдыха, время холода и время тепла. Есть время мужское и есть время женское. Как бы ни был приятен путь, рано или поздно нужно остановиться, поставить чум, развести костёр. Стойбище — царство женщины. Замыкая круг, возводит она чум. Кружа, очищает землю под своими ногами. Обнимая, прячет детей от злых духов. Это и твой путь, Майма. В тундре главенствует мужчина. Он правит оленями, охотится на зверя, заботится о стаде. Но стоит мужчине откинуть полог и ступить под свод чума, он оказывается во владениях женщины. — Старуха простирает руку над огнём. — Вот твой главный друг и защитник.

Пламя целует сухую ладонь, но старуха не чувствует жара.

— Спрашивай совета, и огонь поможет. Я всю жизнь прожила, слушаясь своего. Он гораздо старше и мудрее многих других тундровых огней. Уходя к мужу, возьми угольки из моего очага. Ты, Майма, моей крови, тундровой. Как есть, вся в меня пошла. На мать свою непутёвую не гляди: чужая она, сына мне извела всего... А ты своя. Много счастья принесёшь мужу, много детей.

Она протягивает руку к внучке, треплет её по щеке. Щека мокрая.

— Ты что, внучка, плачешь?

— Нет, просто жарко очень.

Майма шмыгает носом. Старуха ёжится: её, наоборот, знобит.

— Не о чем тут плакать, — сурово говорит она. — Радоваться надо, что хорошего мужа тебе подыскали: молодой, работающий, оленный. Бабке-то своей поверь. Про меня стговорились, едва я успела положить кисы на поганую нарту. Совсем девчонкой ушла от отца, младше твоего...

Майма стыдливо отводит глаза. Её первая женская кровь случилась три года назад, и с тех пор всю одежду и обувь она кладёт на женские нарты, как заведено, — но взрослой себя не чувствует.

— Такие времена были, — шелестит старуха. — Невесты в тундре — большая редкость. И сейчас то же самое. Молодые все крылья поотращивали, разлетелись по городам. Ты, внучка, сокровище наше. Будешь хорошей женой — получишь и обхождение почётное.

— Хорошей — это какой? Не как мама?

Старуха тяжело вздыхает. Как объяснить ей?

— Твоя мама очень старается, это я вижу. Но от пришлых никакого проку. Всегда только одни беды. Спасибо, хоть двоих здоровых родила, а вот Ноляко... Надо было отдать его Нга, богу подземного мира. А я, дурная, выхаживала. И к чему привело? Огонь предупреждал, да я не слушала...

Пламя, будто откликаясь, взвизывает, во все стороны летят искры.

— Вот опять, — волнуется старуха. — Выглянь: что делается?

Майма откладывает шитьё, подползает на коленках к пологу. Выглядывает наружу.

— Головастик прибежал, чего-то ревёт, — говорит она.

— Одна беда с ним...

— Беда! Беда! — вторит маленький Ноляко. Он захлёбывается собственным плачем, и у старухи всё обрывается внутри. Последний раз он плакал так отчаянно у неё на руках, сразу после рождения, когда казалось, что огромная его голова лопнет от напряжения.

— Беги, внучка! — молит старуха. — Беги, крепенькая!

Напуганная Майма выскакивает из чума. Слышатся встревоженные голоса Ксении и Хасавако, потом всё стихает, но лишь на время. Этого времени ей хватит.

Пошарив кривой рукой по мешкам, старуха хватается жменю, другую, бросает в огонь — пламя взвизгивает под самый свод. Едкий пряный запах разливается по чуму, жар волнами окатывает старуху, будто не лето снаружи, а лютый холод. Второй рукой она черпает ещё и бросает в воду, ставит на огонь. Огонь греет воду, вода — траву, трава подстёгивает пламя. Старуха сидит в кругу своего обиталища, замкнутая на самоё себя, и шепчет, шепчет неведомое. Когда Хасавако и невестка с искажёнными лицами вваливаются в чум и выпрастывают руки, полные страшного родительского горя, старуха уже готова.

Сойти без сознания. Его укладывают на шкуры, разбитыми ногами к огню. Мать волчицей скулит снаружи, причитает: что-то о городе, о больнице. Старуха выгнала и её, и пьяного Хасавако, запретила им входить. Осталась только Майма. Двигается она споро, руки её не дрожат, сердце бьётся ровно.

Вдвоём с внучкой они делают, что могут: останавливают кровь, вычищают раны, промывают их целебным отваром. Ощупав правую ногу, самую плохую, старуха дёргает стопу — Сойти лишь слабо стонет, не приходя в себя. Белая кость, торчащая из ноги, с хрустом встаёт на место. Кривой иглой и оленьей жилой они стягивают раны одну за другой. Потом сцепляют над Сойти руки и молятся северным богам для надёжности. Но Хадне, повидавшая на своём веку немало, встревожена. Боги своенравны, и в любую минуту могут отвернуться, особенно если отбираешь у них живую душу. Тундра дала — тундра взяла. Чтобы отбить Сойти, нужна хорошая жертва. Старуха надеется лишь, что её сын сделает всё, как должно.

*

До сих пор иногда случалось: он смотрел вдруг ласково, улыбался, ронял одно-два тёплых слова — и Ксения расцветала, впитывала эти крохи былой любви. Но всё чаще он приезжал со своих сходов расстроенный или разгневанный, с неизменной бутылкой — тогда она замирала на женском месте у входа, готовая ко всему. Порой обходилось лишь злой бранью. Бывало и хуже. Иной раз — совсем худо. Ксения родила троих, но потеряла больше, то и дело выкидывая из-за побоев. Однажды она разбила все его запасы, и Хасавако палкой погнал её в посёлок за добавкой. И смотрел при этом странно: без ненависти, без жалости. Будто она всего лишь олень безмозглый, а то и вовсе пустое место.

Когда становилось совсем неважно, Ксения выходила в тундру за хвостом, ложилась на землю, в мох или в снег, и долго лежала так, глядя в небо. По небу плыли облака. Её свекровь сказала бы: это кочуют в верхнем мире аргиши предков. Когда-нибудь старуха и сама сядет на небесные нарты, рядом со своим покойным мужем и многими погибшими детьми. Потом пройдёт ещё сколько-то времени — и к ним присоединится Хасавако. Только Ксении нет места в том аргише. Она думала: может, тогда просто вросёт в землю, распухнет сочным ягелем, и олени коснутся её мягкими губами, и хоть тогда она станет кому-то нужной. Но время шло, мёрзлая земля не принимала её — и вот уже со стойбища окликали, и Ксения, по добрав хворост, тяжело шла обратно.

Раньше, когда Ксения была юна, а потому красива, домашние дела давались ей с трудом: шила она небрежно, готовила из рук вон плохо. Но Хасавако любил её без оглядки. “Няравэ Сэр”, — шептал, перебирая белые

волосы, гладил шрамик на щеке. Ради неё оставил свою наречённую, хорошую девушку из многооленного рода, наперекор всей родне. А как он радвался первенцу!..

Отчего же так круто изменилась её жизнь?

Ксения сидит на земле посреди стойбища. Старуха выгнала её из чума, отобрав Сойти: нечего чужачке смотреть на таинство. А Хасавако... Ксения прикладывает ладонь к лицу. Фингал горит огнём, даже моргать больно. Она всего-то сказала, что сына надо в город, в больницу. Знала, что муж не любит оседлых, но попытаться стоило. И если бы только фингал — пережила бы, не в первый раз, но Хасавако совсем обезумел. Он зарезал уже шестерых белых оленей и как раз прикладывает нож к горлу седьмого. Приносит большую жертву.

— Мать знает, что делает, и пусть боги ей помогут, — вот что сказал Хасавако, когда Ксения, сплёвывая кровь, отползала от него, подвывая от боли и бессильной ярости.

Теперь она смотрит, как кровь льётся по белой оленьей шерсти, собирается чёрными лужами на земле, медленно всасывается, уходит, уходит, как вода. Потом она станет ягелем, и другие олени коснутся его мягкими губами...

Ксения встаёт, шатаясь, снова подходит к Хасавако, перехватывает его руку с ножом.

— Меня режь, — шепчет. — А оленей оставь.

— Не дури, женщина.

— Хочешь жертвовать — меня давай! Только сына, сына нашего в город отведи. Ему помощь нужна, нормальные врачи.

— Отцепись, тебе говорят!

От сильного толчка Ксения падает, но тут же обнимает ноги мужа.

— Нет, не отцеплюсь! — Свист — и спину обжигает аркан. — Давай, бей меня. Что хочешь делай — а сына вези в город!

— Да провались ты со своим городом! — ревёт Хасавако. — Твои городские мне уже вот где... вот где... вот где! — Рука его поднимается и опускается на спину жены. — Всю тундру... измочалили! Изрыли! Ехать к ним?! Сына везти?! Просить?! Покориться?! Сама покорись! Покорись! Покорись...

Он вдруг замирает, аркан выскользывает из руки, падает на землю. Следом за ним падает и Хасавако, напрямик в тёплые, вздрагивающие объятия жены.

— Няравэ Сэр, — бормочет он, обливаясь пьяными слезами. — Как же так?... Что же я?... Прости меня, прости. Помнишь, как играли в детстве?... Ты была белым оленком, а я...

— А ты был охотником. — Ксения приподнимает его, ведёт в чум, оскальзываясь на оленьей крови. — Я помню. Ты любил искать меня в траве, а я любила прятаться.

— Тот олень... К хальмерам его! Погубил мне сына... Нет. Я сам погубил. Пожадничал.

— Что ж. Тундра дала — тундра взяла.

— Не взяла! Ещё нет. — Хасавако входит в чум, тяжело опускается на супружеское ложе. Ксения стягивает с него обувь. — Няравэ Сэр...

— Что?

— Ты отвезёшь?... Отвезёшь его в посёлок?..

— Отвезу.

— Вот хорошо. Хорошо. По радиции предупреди... Чтоб вертушку вызвали, или как там у них... Гляди! Головастики. Там, на дне. Ишь, ишь! Носятся... Прямо как ты. Убегай, убегай...

*

Когда старуха, утомившись, засыпает, Майма выходит из чума. Косы её растрепались, одежда в крови. Почти всё приданое испорчено. Да и будет ли теперь свадьба? Майма не думает об этом.

Стойбище тоже залито кровью, семеро мёртвых беляков лежат на земле. Остальные олени беспокоятся в загоне — кроме четверых, запряжённых в нарты. В нартах сидит мать. Опухшее лицо перекошено, подбитый глаз лиловеет, но взгляд устремлён к горизонту, над которым зависло незакатное летнее солнце. Ксения слегка раскачивается из стороны в сторону. Если и говорит с духами, то на таких глубинах, что даже прикосновение Маймы не сразу возвращает её в мир живых. Майма садится рядом, кладёт голову на колени к матери. Две крупные слезы выкатываются из её глаз.

— Мам, — говорит она, — у Сойти жар. Бабушка сделала всё, что могла, но надо больше.

Тёплая ладонь гладит её по волосам.

— Бедная моя девочка, — ласково шепчет мать. — Тебе бы в куклы играть и горя не знать... Что бабушка?

— Спит.

— Хорошо. Помоги мне.

Вместе они выносят спящего Сойти из бабушкиного чума, укладывают на нарты, укрывают, как следует. Сумка с провизией и документы уже собраны. Мать усаживается на место погонщика.

— Едем со мной?

Майма колеблется:

— Я тогда не вернусь, если уеду.

— И не надо. Придумаем что-нибудь.

— А ты, мам? Вернёшься?

Молчание. Только нервно вздрагивает плечо.

— А как же Ноляко? — спрашивает Майма.

Мать вдруг смаргивает, в ужасе озирается по сторонам. Майма — вслед за ней. В последний раз она видела Ноляко, когда тот, зарёванный, наконец, вывел их к Сойти. Потом началась суматоха, и Майма просто-напросто потеряла брата из виду. Мать хватается Майму за руки, встряхивает:

— Найди его, поняла? Изок поможет. Найди.

— Найду. Поезжай.

— Я вернусь.

Она трогает, и вот уже нарты резво летят к далёкому горизонту. Майма провожает их взглядом. Мать выбрала не самых сильных оленей, но и эти справятся.

Всё будет хорошо.

— Головастик! — зовёт Майма. — Головастик! Ноляко, ты где? Изок, Изок! Фьють!

Пса тоже не видно.

Майма берёт с мужских нарт хорей Сойти, открывает кораль. Отправляясь на поиски младшего, она уводит с собой и оленей. Их стало меньше, Майма без труда уследит за всеми. Кто-то ведь должен пасти стадо.

*

Маленький Ноляко долго идёт, не разбирая пути. Его слишком короткие ножки заплетаются, путаются в стланике, оскальзываются на кочках, и Ноляко то и дело падает на мягкие мшистые подушки. Полежит-полежит, поплачет горько — и снова в путь. Но мало-помалу силы оставляют Ноляко, и, когда ноги в очередной раз подводят его, он решает больше не вставать.

Совсем близко на тонких стебельках висит розоватая морошка. Ноляко протягивает руку, срывает сразу несколько ягод, кладёт в рот. Потом ещё и ещё. Морошки здесь много, за один раз можно досыта наесться, а если не наесться, то проползти ещё немного вперёд — и тогда уж точно. Недозрелая морошка кислит, но Ноляко всё равно ест. Он принимает эту кислую морошку стойко, как наказание. Отныне он будет питаться только ею и жить здесь, в голой тундре, среди мха и пустоты. Без семьи, без чума, без оленей. Если потеряется в тундре навсегда, старший брат непременно поправится. Он встанет на обе свои крепкие ноги, и вырастет сильным, и проживёт долгую жизнь, и облетит со своим аргишем всю тундру, и станет многооленным.

Это Ноляко, а не Сойти должен был затоптать олень.

Это Ноляко, а не Сойти следовало отдать богам.

Это Ноляко, а не Сойти нарушил правило игры — и правило жизни.

Это он подлез под кораль, так что верёвка оказалась над его головой. Накликал беду, как и сказала бабушка. Проклят он — только он, не Сойти. Ноляко твёрдо решил: он пропадёт в тундре, как заслужил, и тогда боги оставят Сойти в покое.

Слёзы давно высохли. Ноляко принял свою участь и даже обрадовался ей: он всё исправит.

А летнее кучевое небо живёт своим укладом, не ведая о людских печалях. Облачные горы вздымаются, гонимые ветром. Из рассказов бабушки Ноляко знает: там, среди облаков, кочуют его предки, а когда умирают, снова возвращаются на землю. Даже Ноляко — заново рождённый предок.

В небесном мире всё то же самое: и бескрайняя тундра, и снег, и северные сияния. Среди звёзд крадёт пушной зверь, олень ищет ягель, а в голубом небе рыба плещется. Все они умерли на земле и теперь живут в облаках. Если в тундре изобилие, то наверху, конечно, голод. Но маленький Ноляко слышал от взрослых: олень всю гибнет, потому что есть нечего. Чужаки пришли на людскую землю, раскопали тундру, вывернули ей всё нутро. Оттого и ягель сохнет, и олени мрут. А когда мрут олени, туго приходится человеку. Слышал Ноляко и то, что чужаки на своих вертушках могут стрелять оленя без разбору, сразу всё стадо положить — не для жизни, для забавы. Иногда диких, но чаще домашних, на выпасе. С высоты ведь непонятно. А гибель стада — гибель всей семье, и даже маленький Ноляко это понимает.

Но впервые Ноляко думает об оленьем мире едва ли не с затаённой радостью: “Раз олени умирают здесь, значит, на небе их рождается всё больше и больше. Вот где жизнь, вот где счастье!” Он представляет себе многолюдные стойбища на облаках, нарядные чумы и нарты, полные всякого добра, бескрайние стада оленей и весёлых охотников, что всегда возвращаются с добычей. И если здесь от Ноляко одни беды, может быть, там он родится ловким и сильным охотником, и папа посмотрит на него с гордостью, а не с жалостью, и бабушка хоть раз его обнимет, хоть раз обнимет...

*

Ноляко мирно спит среди морошки, совершенно счастливый. Таким и находит его Изок. Он укладывается рядом, жмётся к мальчику тёплым боком, чтобы согреть. Вскоре он слышит Майму: “Ноляко, ты где? Изок, Изок! Фьють!” Сама она ещё далеко, а тонкий девичий голос уже летит над тундрой вольной птицей. Изок рад Майме, но маленький Ноляко крепко держится за шерсть, так что Изок лишь бьёт по земле хвостом-калачиком, приветствуя голос.

В ожидании молодой хозяйки Изок щурится на летнее солнце. Солнце медленно садится ему на нос, Изок клацает тихонько зубами, подкидывает его в небо: ещё не время тебе умирать. Солнце будто спохватывается, поднимается чуть выше. Изок лижет маленького Ноляко в ухо, тот смеётся, не просыпаясь.

Где-то трещат олени копыта, авкают телята, путаясь в ногах у своих матерей, храпят молодые рогачи. Олени бодро идут по живой летней тундре. Начинается новый день.